

Любовь во время чумы

Автор:

[Габриэль Маркес](#)

Любовь во время чумы

Габриэль Гарсия Маркес

История любви, побеждающей все – время и пространство, жизненные невзгоды и даже несовершенство человеческой души.

Смуглая красавица Фермина отвергла юношескую любовь друга детства Фьорентино Ариса и предпочла стать супругой доктора Хувеналья Урбино – ученого, мечтающего избавить испанские колонии от их смертоносного бича – чумы. Но Фьорентино не теряет надежды. Он ждет – ждет и любит. И неистовая сила его любви лишь крепнет с годами.

Такая любовь достойна восхищения. О ней слагают песни и легенды.

Страсть – как смысл жизни. Верность – как суть самого бытия...

Габриэль Гарсия Маркес

Любовь во время чумы

Посвящается, конечно же, Мерседес

Эти селенья уже обрели свою коронованную богиню.

Леандро Диас

Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви. Доктор Урбино почувствовал его сразу, едва вошел в дом, еще тонувший во мраке, куда его срочно вызвали по неотложному делу, которое для него уже много лет назад перестало быть неотложным. Беженец с Антильских островов Херемиа де Сент-Амур, инвалид войны, детский фотограф и самый покладистый партнер доктора по шахматам, покончил с бурей жизненных воспоминаний при помощи паров цианида золота.

Труп, прикрытый одеялом, лежал на походной раскладной кровати, где Херемиа де Сент-Амур всегда спал, а рядом, на табурете, стояла кювета, в которой он выпарил яд. На полу, привязанное к ножке кровати, распростерлось тело огромного дога, черного, с белой грудью; рядом валялись костыли. В открытое окно душевой, заставленной комнаты, служившей одновременно спальней и лабораторией, начинал сочиться слабый свет, однако и его было довольно, чтобы признать полномочия смерти. Остальные окна, как и все щели в комнате, были заткнуты тряпками или закрыты черным картоном, отчего присутствие смерти ощущалось еще тягостнее. Столик, заставленный флаконами и пузырьками без этикеток, две кюветы из оловянного сплава под обычным фонарем, прикрытым красной бумагой. Третья кювета, с фиксажем, стояла около трупа. Куда ни глянь – старые газеты и журналы, стопки стеклянных негативов, поломанная мебель, однако чья-то прилежная рука охраняла все это от пыли. И хотя свежий воздух уже вошел в окно, знающий человек еще мог уловить еле различимую тревожную тень несчастной любви – запах горького миндаля. Доктору Хувеналю Урбино не раз случалось подумать, вовсе не желая пророчествовать, что это место не из тех, где умирают в мире с Господом. Правда, со временем он пришел к мысли, что этот беспорядок, возможно, имел свой смысл и подчинялся Божьему промыслу.

Полицейский комиссар опередил его, он уже был тут, вместе с молоденьким студентом-медиком, который проходил практику судебного эксперта в муниципальном морге; это они до прихода доктора Урбино успели проветрить комнату и накрыть тело одеялом. Они приветствовали доктора с церемонной торжественностью, на этот раз более означавшей соболезнование, чем почтение, поскольку все прекрасно знали, как дружен он был с Херемией де Сент-Амуром. Знаменитый доктор поздоровался с обоими за руку, как всегда здоровался с каждым из своих учеников перед началом ежедневных занятий по общей клинике, и только потом кончиками указательного и большого пальцев поднял край одеяла, точно стебель цветка, и, будто священнодействуя, осторожно открыл труп. Тот был совсем нагой, напряженный и скрюченный,

посиневший, и казался на пятьдесят лет старше. Прозрачные зрачки, сизо-желтые волосы и борода, живот, пересеченный давним швом, зашитым через край. Плечи и руки, натруженные костылями, широкие, как у галерника, а неработавшие ноги – слабые, сирые. Доктор Хувеналь Урбино поглядел на лежащего, и сердце у него сжалось так, как редко сжималось за все долгие годы его бесплодного сражения со смертью.

– Что же ты струсил? – сказал он ему. – Ведь самое страшное давно позади.

Он снова накрыл его одеялом и вернул себе великолепную академическую осанку. В прошлом году целых три дня публично праздновалось его восьмидесятилетие, и, выступая с ответной благодарственной речью, он в очередной раз воспротивился искушению уйти от дел. Он сказал: «У меня еще будет время отдохнуть – когда умру, однако эта вероятность покуда в мои планы не входит». Хотя правым ухом он слышал все хуже и, желая скрыть нетвердость поступи, опирался на палку с серебряным набалдашником, но, как и в молодые годы, он по-прежнему носил безупречный костюм из льняного полотна с жилетом, который пересекала золотая цепочка от часов. Перламутровая, как у Пастера, борода, волосы такого же цвета, всегда гладко причесанные, с аккуратным пробором посередине, очень точно выражали его характер. Беспokoила слабеющая память, и он, как мог, восполнял ее провалы торопливыми записями на клочках бумаги, которые рассовывал по карманам вперемежку, подобно тому как вперемежку лежали в его битком набитом докторском чемоданчике инструменты, пузырьки с лекарствами и еще множество разных вещей. Он был не только самым старым и самым знаменитым в городе врачом, но и самым большим франтом. При этом он не желал скрывать своего многомудрия и не всегда невинно пользовался властью своего имени, отчего, быть может, любили его меньше, чем он того заслуживал.

Распоряжения, которые он отдал комиссару и практиканту, были коротки и точны. Вскрытия делать не нужно. Запаха, еще стоявшего в доме, было довольно, чтобы определить: смерть причинили газообразные выделения от проходившей в кювете реакции между цианидом и какой-то применявшейся в фотографии кислотой, а Херемия де Сент-Амур достаточно понимал в этом деле, так что несчастный случай исключался. Уловив невысказанное сомнение комиссара, он ответил характерным для него выпадом: «Не забывают, свидетельство о смерти подписываю я». Молодой медик был разочарован: ему еще не приходилось наблюдать на трупе действие цианида золота. Доктор Хувеналь Урбино удивился, что не заметил молодого человека у себя на

занятиях в Медицинской школе, но по его андскому выговору и по тому, как легко он краснел, сразу же понял: по-видимому, тот совсем недавно в городе. Он сказал: «Вам тут еще не раз попадутся обезумевшие от любви, так что получите такую возможность». И только проговорив это, понял, что из бесчисленных самоубийств цианидом, случившихся на его памяти, это было первым, причиной которого не была несчастная любовь. И голос его прозвучал чуть-чуть не так, как обычно.

– Когда вам попадется такой, – сказал он практиканту, – обратите внимание: обычно у них в сердце песок.

Потом он обратился к комиссару и говорил с ним, как с подчиненным. Велел ему в обход всех инстанций похоронить тело сегодня же вечером и притом в величайшей тайне. И сказал: «Я переговорю с алькальдом после». Он знал, что Херемиа де Сент-Амур вел жизнь простую и аскетическую и что своим искусством зарабатывал гораздо больше, чем требовалось ему для жизни, а потому в каком-нибудь ящике письменного стола наверняка лежали деньги, которых с лихвой хватит на похороны.

– Если не найдете, не беда, – сказал он. – Я возьму все расходы на себя.

Он приказал сообщить журналистам, что фотограф умер естественной смертью, хотя и полагал, что это известие ничуть их не заинтересует. Он сказал: «Если надо будет, я переговорю с губернатором». Комиссар, серьезный и скромный служака, знал, что строгость доктора в соблюдении правил и порядков вызывала раздражение даже у его друзей и близких, а потому удивился, с какой легкостью тот обошел все положенные законом формальности ради того, чтобы ускорить погребение. Единственное, на что он не пошел, – не захотел просить архиепископа о захоронении Херемии де Сент-Амура в освященной земле. Комиссар, огорченный собственной дерзостью, попытался оправдаться.

– Я так понял, что человек этот был святой, – сказал он.

– Случай еще более редкий, – сказал доктор Урбино. – Святой безбожник. Но это – дела Божьи.

Вдалеке, на другом конце города, зазвонили колокола собора, созывая на торжественную службу. Доктор Урбино надел очки – стекла-половинки в золотой

оправе – и поглядел на маленькие квадратные часы, висевшие на цепочке; крышка часов открывалась пружиной: он опаздывал на праздничную службу по случаю Святой Троицы.

Огромный фотографический аппарат на подставке с колесиками, как в парке, аляповато разрисованный мрачно-синий занавес, стены, сплошь покрытые фотографиями детей, сделанными в торжественные даты: первое причастие, день рождения. Стены покрывались фотографиями постепенно, год за годом, и у доктора Урбино, обдумывавшего тут по вечерам шахматные ходы, не раз тоскливо екало сердце при мысли о том, что случай собрал в этой портретной галерее семя и зародыш будущего города, ибо именно этим еще не оформившимся детишкам суждено когда-нибудь взять в свои руки бразды правления и до основания перевернуть этот город, не оставив ему и следа былой славы.

На письменном столике, рядом с банкой, где хранились курительные трубки старого морского волка, лежала шахматная доска с незаконченной партией. И доктор Урбино, хоть и спешил, хоть и был в тяжелом расположении духа, не удержался от искушения рассмотреть ее. Он знал, что партия игралась накануне вечером, потому что Херемиа де Сент-Амур играл в шахматы каждый вечер с одним из по меньшей мере трех разных партнеров и всегда доигрывал партию до конца, а потом складывал фигуры и убирал доску в ящик письменного стола. Знал, что он играл белыми, и на этот раз, совершенно очевидно, через четыре хода его ожидал полный разгром. «Будь это убийство, можно было бы взять след, – подумал он. – Я знаю только одного человека, способного выстроить столь мастерскую засаду». Ему будет трудно жить дальше, если он не узнает, почему этот неукротимый солдат, привыкший всегда биться до последней капли крови, не довел до конца заключительную битву своей жизни.

В шесть утра, совершая последний обход, ночной сторож заметил на двери дома записку: «Дверь не заперта, войдите и сообщите в полицию». Комиссар с практикантом пришли тотчас же и, осматривая дом, тщательно искали признаки, которые могли бы опровергнуть этот запах горького миндаля, который невозможно спутать ни с чем. За те несколько минут, что длился анализ недоигранной партии, комиссар нашел в письменном столе, среди бумаг, конверт, адресованный доктору Урбино и запечатанный столькими сургучными печатями, что его пришлось разорвать на клочки, чтобы извлечь письмо. Доктор откинул черный занавес на окне, впуская в комнату свет, и оглядел все одиннадцать страниц, исписанные с обеих сторон старательно-разборчивым

почерком, но, прочтя первый же абзац, понял, что праздничная церковная служба для него пропала. Он читал, и дыхание его учащалось, иногда он листал страницы назад, чтобы ухватить потерянную нить, а когда закончил чтение, казалось, будто он возвратился откуда-то из далеких мест и давних времен. Как ни старался он держаться, видно было – письмо сразило его: губы доктора стали такими же синими, как у трупа, и он не мог сдержать дрожи пальцев, когда складывал листки и прятал их в карман жилета. Только тут он вспомнил о комиссаре и молодом медике и улыбнулся им, отодвигая навалившиеся думы.

– Ничего особенного, – сказал он. – Последние распоряжения.

Это была полуправда, но они приняли ее за полную, потому что он велел им поднять одну из плиток кафельного пола и там они обнаружили затрепанную тетрадь расходов и ключи от сейфа. Денег оказалось не так много, как они думали, но более чем достаточно для оплаты похорон и разных мелких счетов. Теперь доктору Урбино стало окончательно ясно, что в церковь он опоздал.

– Третий раз в жизни, с тех пор как помню себя, пропускаю воскресную службу, – сказал он. – Но Бог поймет меня.

И он остался еще на несколько минут, чтобы решить все вопросы, хотя с трудом сдерживал желание поделиться с женой откровениями, содержащимися в письме. Он взялся известить всех живших в городе Карибских беженцев, на случай если они захотят воздать последние почести тому, кто считался самым уважаемым из них, самым деятельным и самым радикальным, даже после того, как стало очевидным, что он поддался губительному разочарованию. Он известит и его сотоварищей по шахматам, среди которых были и знаменитости-профессионалы, и безвестные любители, сообщит и другим, не столь близким друзьям, возможно, они пожелают прийти на похороны. До предсмертного письма он бы мог счесть себя самым близким его другом, но, прочтя письмо, уже ни в чем не был уверен. Как бы то ни было, он пошлет венок из гардений – может быть, Херемиа де Сент-Амур в последний миг испытал раскаяние. Погребение, по-видимому, состоится в пять часов, самое подходящее время для этой жаркой поры. Если он понадобится, то после двенадцати будет находиться в загородном доме доктора Ласидеса Оливельи, своего любимого ученика, который в этот день дает торжественный обед по случаю своего серебряного юбилея на ниве врачебной деятельности.

Доктору Хувеналю Урбино легко было следовать привычному распорядку теперь, когда позади остались бурные годы первых житейских сражений, когда он уже добился уважения и авторитета, равного которому не было ни у кого во всей провинции. Он вставал с первыми петухами и тотчас же начинал принимать свои тайные лекарства: бромистый калий для поднятия духа, салицилаты – чтобы не ныли кости к дождю, капли из спорыньи – от головокружений, белладонну – для крепкого сна. Он принимал что-нибудь каждый час и всегда тайком, потому что на протяжении всей докторской практики он, выдающийся мастер своего дела, неуклонно выступал против паллиативных средств от старости: чужие недуги он переносил легче, чем собственные. В кармане он всегда носил пропитанную камфарой марлевую подушечку и глубоко вдыхал камфару, когда его никто не видел, чтобы снять страх от стольких перемешавшихся в нем лекарств.

В течение часа у себя в кабинете он готовился к занятиям по общей клинике, которые вел в Медицинской школе с восьми утра ежедневно – с понедельника по субботу, до самого последнего дня. Он внимательно следил за всеми новостями в медицине и читал специальную литературу на испанском языке, которую ему присылали из Барселоны, но еще внимательнее прочитывал ту, которая выходила на французском языке и которую ему присылал книготорговец из Парижа. По утрам книг он не читал, он читал их в течение часа после сиесты и вечером, перед сном. Подготовившись к занятиям, он пятнадцать минут делал в ванной дыхательную гимнастику перед открытым окном, всегда повернувшись в ту сторону, где пели петухи, ибо именно оттуда дул свежий ветер. Потом он мылся, приводил в порядок бороду, напомаживал усы, окутавшись душистыми парами одеколона, и облачался в белый льняной костюм, жилет, мягкую шляпу и сафьяновые туфли. В свои восемьдесят один год он сохранил живые манеры, праздничное состояние духа, какие ему были свойственны в юности, когда он вернулся из Парижа, вскоре после смертоносной эпидемии чумы; и волосы он причесывал точно так же, как в ту пору, с ровным пробором посередине, разве что теперь они отливали металлом. Завтракал он в кругу семьи, но завтрак у него был особый: отвар из цветов полыни для пищеварения и головка чеснока – он очищал дольки и, тщательно пережевывая, ел одну за другой с хлебом, чтобы предотвратить перебои в сердце. В редких случаях после занятий у него не бывало какого-нибудь дела, связанного с его гражданской деятельностью, участием в церковных заботах, его художественными или общественными затеями.

Обедал он почти всегда дома, затем следовала десятиминутная сиеста: сидя на террасе, выходящей во двор, он сквозь сон слушал пение служанок в тени манговых деревьев, крики торговцев на улице, шипение масла на сковородах и

треск моторов в бухте, шумы и запахи которой бились и трепетали в доме жаркими слепополуденными часами, точно ангел, обреченный гнить взаперти. Потом он целый час читал свежие книги, по преимуществу романы и исторические исследования, обучал французскому языку и пению домашнего попугая, уже много лет служившего местной забавой. В четыре часа, выпив графин лимонада со льдом, начинал обход больных. Несмотря на возраст, он не сдавался и принимал больных не у себя в кабинете, а ходил по домам, как делал это всю жизнь, поскольку город оставался таким уютно-домашним, что можно было пешком добраться до любого закоулка.

После первого своего возвращения из Европы он стал ездить в фамильном ландо, запряженном парой золотистых рысаков, а когда экипаж пришел в негодность, сменил его на открытую коляску, а пару рысаков – на одного, и продолжал ездить так, пренебрегая всякой модой, даже когда конные выезды стали выходить из употребления и остались только те, что прогуливали по городу туристов и возили венки на похоронах. Он никак не желал отойти от дел, хотя ясно понимал, что вызывали его исключительно в безнадежных случаях, однако полагал, что у врача может быть и такая специализация. Он умел определить, что с больным, по одному его виду и с годами все меньше верил в патентованные средства, с тревогой следя за тем, как безбожно злоупотребляют хирургией: «Скальпель – главное свидетельство полного провала медицины». Он полагал, что всякое лекарство, строго говоря, является ядом и что семьдесят процентов обычных продуктов питания приближают смерть. «Как бы то ни было, – говорил он обычно на занятиях, – то немногое, что известно в медицине, известно лишь немногим медикам». От былой юношеской восторженности он со временем пришел к убеждениям, которые сам определял как фаталистический гуманизм. «Каждый человек – хозяин собственной смерти, и в наших силах лишь одно – в урочный час помочь человеку умереть без страха и без боли». Однако, несмотря на подобные крайние взгляды, которые уже вошли в местный врачебный фольклор, прежние его ученики продолжали советоваться с ним, даже став признанными специалистами, единодушно утверждая, что у него острый глаз клинициста. Во всяком случае, он всегда был врачом дорогим, для избранных, и его клиентура жила в старинных родовых домах в квартале вице-королей.

День у него был расписан по минутам, так что его жена во время врачебного обхода больных всегда знала, куда в экстренном случае послать к нему человека с поручением. В молодости он, случалось, после обхода больных задерживался в приходском кафе, где совершенствовал свое шахматное мастерство с приятелями тестя и карибскими беженцами, но с начала этого столетия он

перестал посещать приходское кафе, а попробовал под эгидой общественного клуба организовать турниры шахматистов всей страны. Как раз в это время и приехал Херемиа де Сент-Амур: он уже был калекой с мертвыми ногами, но еще не стал детским фотографом, и через три месяца его уже знали все, кто умел передвигать по шахматной доске слона, потому что никому не удавалось выиграть у него ни одной партии. Для доктора Хувеналя Урбино это была чудесная встреча, ибо к тому времени шахматы превратились у него в неодолимую страсть, а партнеров для удовлетворения этой страсти почти не было.

Благодаря доктору Херемиа де Сент-Амур мог стать здесь тем, чем он стал. Доктор Урбино был его безоговорочным заступником, поручителем на все случаи жизни и не давал себе даже труда полюбопытствовать, кто он такой, чем занимается и с каких бесславных войн вернулся таким жалким инвалидом. И наконец, он одолжил ему денег для устройства фотографического ателье, и Херемиа де Сент-Амур выплатил ему все до последнего гроша, начав отдавать долг аккуратно с того самого момента, когда впервые щелкнул фотоаппаратом под магниевую вспышку первого насмерть перепуганного малыша.

А все – из-за шахмат. Сначала они играли в семь вечера, после ужина, и партнер, ввиду своего явного преимущества, давал доктору фору, но с каждым разом фора становилась все меньше, пока они не сравнялись в умении. Позже, когда дон Галилео Даконте открыл у себя во дворе первый кинотеатр под открытым небом, Херемиа де Сент-Амур превратился в заядлого кинозрителя, и шахматам оставались только те вечера, когда не показывали новых фильмов. К тому времени они уже так подружились с доктором, что тот стал ходить с ним и в кино, и всегда без жены, отчасти потому, что у той не хватало терпения следить за путаными перипетиями сюжета, а отчасти потому, что нутром он чуял: общество Херемии де Сент-Амура мало кому подойдет.

Особенным днем у него было воскресенье. Утром он шел к главной службе в собор, потом возвращался домой и отдыхал – читал на террасе. Лишь в неотложных случаях он навещал больного в воскресенье и уже много лет не принимал никаких приглашений, за исключением крайне важных. В тот день, на Троицу, по редкостному стечению обстоятельств совпали два события: смерть друга и серебряный юбилей знаменитого доктора, его ученика. Однако вместо того, чтобы, подписав свидетельство о смерти, как он собирался, напрямиком направиться домой, доктор Урбино позволил любопытству увлечь себя. Усевшись в открытой коляске, он еще раз пробежал глазами предсмертное письмо и

приказал кучеру везти его по трудному пути – в старинный квартал, где жили рабы. Приказ был так странен, что кучер переспросил, не ослышался ли он. Нет, не ослышался, адрес был верным, а у написавшего его имелось достаточно оснований знать его твердо. Доктор Урбино вернулся к первой странице и снова погрузился в омут нежеланных откровений, которые могли бы переменить всю жизнь, даже в его возрасте, если бы он сумел себя убедить, что все это не бред отчаявшегося больного.

Погода начала портиться с раннего утра, было свежо и облачно, но дождя до полудня, похоже, не предвиделось. Желая добраться кратчайшим путем, кучер повез его по крутым мощеным улочкам колониального города, и несколько раз ему приходилось придерживать лошадь, чтобы ее не напугали гомонящие школьники и толпы верующих, возвращавшихся с воскресной службы. Улицы были украшены бумажными гирляндами, цветами, гремела музыка, а с балконов на праздник глядели девушки под разноцветными оборчатými муслиновыми зонтиками. На Соборной площади, где статую Освободителя с трудом можно было разглядеть за пальмовыми листьями и шарами новых фонарей, образовалась пробка: после церковной службы разъезжались автомобили, а в шумном, облюбованном горожанами приходском кафе не было ни одного свободного места. Единственным экипажем на конной тяге была коляска доктора Урбино, и она выделялась из тех немногих, что остались в городе: лакированный откидной верх ее всегда сверкал, обода на колесах и подковы у рысака были бронзовыми, чтобы не разъела соль, а колеса и оглобли выкрашены в красный цвет и отделаны позолотой, как у венских экипажей для парадного выезда в оперу. В то время как самые утонченные семейства довольствовались тем, что их кучера появлялись на людях в чистой рубашке, доктор Урбино упорно требовал от своего носить бархатную ливрею и цилиндр, точно у циркового укротителя, что было не только анахроничным, но и безжалостным, особенно под палящим карибским солнцем.

Хотя доктор Хувеналь Урбино и любил свой город почти маниакальной любовью, хотя и знал его как никто другой, всего считанные разы нашлись у него причины решиться на вылазку в его чрево – в кварталы, где жили рабы. Кучеру пришлось немало поколесить и не раз спрашивать дорогу, чтобы добраться до места. Доктор Урбино вблизи увидел мрачные трясины, их зловещую тишину и затхлую вонь, которая, случалось, в часы предрассветной бессонницы поднималась и к нему в спальню, перемешанная с ароматом цветущего в саду жасмина, и тогда ему казалось, что это пронесся вчерашний ветер, ничего общего не имеющий с его жизнью. Но это зловоние, в былые дни иногда приукрашенное ностальгическими воспоминаниями, обернулось невыносимой явью, когда

коляска начала подскакивать на колдобинах, где ауры посреди улицы дрались за отбросы с бойни, выброшенные сюда морем. В вице-королевском квартале дома были из камня, здесь же они были деревянные и облезлые, под цинковыми крышами, по большей части на сваях, чтобы их не заливали нечистоты из открытых сточных канав, унаследованных от испанцев. Все здесь выглядело жалким и безотрадным, однако в грязных тавернах гремела музыка, бродячие музыканты, не признававшие ни Бога, ни черта, наяривали на празднике у бедноты. Когда в конце концов они добрались до места, за коляской бежала шумная ватага голых ребятишек, потешавшихся над театральным нарядом кучера, которому то и дело приходилось отпугивать их хлыстом. Доктор Урбино, приготовясь к доверительному разговору, слишком поздно понял, что простодушие в его возрасте – вещь опасная.

Снаружи этот дом без номера ничем не отличался от других, менее счастливых, разве что окном с кружевной занавеской и дверью, по-видимому, бывшей когда-то дверью старой церкви. Кучер стукнул дверным кольцом и, лишь окончательно убедившись, что адрес верен, помог доктору выйти из коляски. Дверь отворилась бесшумно, за нею в полутьме стояла немолодая женщина, вся с ног до головы в черном, с красной розой за ухом. Несмотря на возраст, а ей было не менее сорока, это была все еще стройная, гордая мулатка с золотистыми и жестокими глазами и гладкими, по форме головы причесанными волосами, прилегавшими так плотно, что казались каской из железной ваты. Доктор Урбино не узнал ее, хотя вспомнил, что, кажется, видел ее в ателье у фотографа, когда сидел там за шахматами, и однажды даже прописал ей хинин от перемежающейся лихорадки. Он протянул ей руку, и она взяла его руку в ладони – не затем даже, чтобы поздороваться, а чтобы помочь ему войти в дом. Гостиная дышала запахами и шорохами невидимого сада и была обставлена превосходной мебелью и массой красивых вещей, каждая из которых имела свое место и смысл. Доктору Урбино без горечи вспомнилась лавка парижского антиквара, осенний понедельник еще в том столетии, дом номер 26 на улочке Монмартра. Женщина села напротив и заговорила на неродном для нее испанском.

– Этот дом – ваш дом, доктор, – сказала она. – Не ждала, что это случится так скоро.

Доктор Урбино почувствовал себя преданным. Он взглянул на нее участливо, сердцем увидел ее глубокий траур, ее достойную скорбь и понял, что приход его бесполезен, ибо она гораздо больше его знала, что в предсмертном письме

сообщал в свое оправдание Херемиа де Сент-Амур. Вот оно что! Она была с ним совсем незадолго до смерти, она была рядом с ним почти двадцать лет, ее преданность и смиренная нежность слишком походили на любовь, и однако же в этом сонном городе, главном городе провинции, где каждому было известно все, вплоть до государственных секретов, об их отношениях не знал никто. Они познакомились в больнице для приезжих, в Порт-о-Пренсе, откуда она была родом и где он, беглец, провел первое время; она приехала следом за ним сюда, через год после его приезда, повидаться ненадолго, но оба хорошо понимали, что приехала навсегда. Она приходила раз в неделю убраться и навести порядок в фотолаборатории, однако даже самые подозрительные соседи не угадали правды, поскольку, как и все остальные, полагали, что ущербность Херемии де Сент-Амура касается не только его способности передвигаться. Сам доктор Урбино, основываясь на медицинских соображениях, никогда бы не подумал, что у него была женщина, если бы тот не признался в письме. Во всяком случае, ему трудно было понять, почему двое взрослых и свободных людей, не имевших в прошлом ничего, что бы их сдерживало, и живших вне предрассудков замкнутого общества, выбрали удел запретной любви. Она объяснила: «Так ему хотелось». К тому же, подумал доктор, тайная жизнь с мужчиной, который никогда не принадлежал ей полностью, жизнь, в которой не однажды случались мгновенные вспышки счастья, не так уж плоха. Наоборот: его жизненный опыт свидетельствовал, что, возможно, как раз это придавало ей прелесть.

Накануне вечером они были в кино, каждый сам покупал себе билет, и сидели отдельно, как они делали по крайней мере дважды в месяц с тех пор, как иммигрант-итальянец дон Галилео Даконте соорудил на развалинах монастыря семнадцатого века открытый кинотеатр. Фильм был снят по модной в прошлом году книге, доктор Урбино читал эту книгу с душевной болью – так ужасно описывалась в ней война: «На Западном фронте без перемен». Потом они встретились в его лаборатории, и он показался ей рассеянным и грустным, но она решила, что на него подействовали жестокие сцены про раненых, умиравших в болотах. Ей хотелось развлечь его, и она предложила сыграть в шахматы; он согласился, чтобы доставить ей удовольствие, но играл невнимательно, белыми, разумеется, пока не обнаружил – раньше, чем она, – что через четыре хода его ждет полное поражение, и тогда бесславно сдался. Только тут доктор понял, что противником в этой последней шахматной партии была она, а вовсе не генерал Херонимо Арготе, как он предполагал. И изумленно пробормотал:

– Мастерская партия!

Она уверяла, что заслуга не ее, видно, Херемиа де Сент-Амур был поглощен думами о смерти и двигал фигуры безучастно. Когда они кончили играть, было около четверти двенадцатого – уже смолкли музыка и танцы, – он попросил оставить его одного. Он хочет написать письмо доктору Хувеналю Урбино, самому уважаемому из всех известных ему людей, своему задушевному другу, как он любил говорить, хотя связывала их только порочная страсть к шахматам, которые оба они понимали как диалог умов, а не как науку. И тогда она почувствовала, что жизненная агония Херемии де Сент-Амура подошла к концу, и времени ему осталось ровно столько, чтобы написать письмо. Доктор не мог ей поверить.

– Значит, вы знали! – воскликнул он.

Она не только знала это, она помогала ему переносить жизненные мучения с той же любовью, с какой некогда помогла ему открыть смысл счастья. Но именно таковы были последние одиннадцать месяцев: мучительная жестокая агония.

– Ваш долг был сообщить о его намерениях, – сказал доктор.

– Я не могла сделать этого, – оскорбилась она. – Я слишком любила его.

Доктор Урбино, полагавший, что знал обо всем на свете, никогда не слышал ничего подобного, к тому же высказанного так непосредственно. Он посмотрел на нее в упор, стараясь всеми пятью чувствами запечатлеть ее в памяти такой, какой она была в тот момент: в черном с ног до головы, невозмутимо-бесстрашная, с глазами как у змеи и с розой за ухом, она казалась речным божеством. Давным-давно, на безлюдном морском берегу на Гаити, где они лежали обнаженные после того, как любили друг друга, Херемиа де Сент-Амур вдруг прошептал: «Никогда не буду старым». Она поняла это как героическое намерение беспощадно сражаться с разрушительным временем, но он объяснил совершенно определенно: он намерен покончить с жизнью в шестьдесят лет.

И в самом деле, ему исполнилось шестьдесят в этом году, 23 января, и тогда он наметил себе крайний срок – канун Троицы, главного престольного праздника города. Все до мельчайших подробностей этого вечера она знала заранее, они говорили об этом часто и вместе страдали от безвозвратного бега дней, которого ни он, ни она не могли сдержать. Херемиа де Сент-Амур любил жизнь с бессмысленной страстью, любил море и любовь, любил своего пса и ее, и чем

ближе придвигался намеченный день, тем он больше впадал в отчаяние, словно час смерти назначил не он сам, а неумолимый рок.

– Вчера вечером, когда я уходила, он как будто уже был не здесь, – сказала она.

Она хотела увести с собой пса, но он посмотрел на пса, дремавшего подле костылей, ласково притронулся к нему кончиками пальцев. И сказал: «Сожалею, но мистер Вудро Вильсон пойдет со мной». Он попросил ее привязать пса к ножке кровати, и она привязала таким узлом, чтобы он смог отвязаться. Это была единственная ее измена ему, и она оправдалась тем, что хотела потом, глядя в зимние глаза пса, вспоминать его хозяина. Доктор Урбино прервал ее и сказал, что пес не отвязался. Она отозвалась: «Значит, не захотел». И обрадовалась, потому что ей и самой хотелось вспоминать умершего возлюбленного так, как он просил ее вчера вечером, когда оторвался от начатого письма и поглядел на нее в последний раз.

– Вспоминай обо мне розой, – сказал он.

Она пришла домой чуть за полночь. Лежа на кровати, одетая, курила, давая ему время закончить письмо, которое, она знала, будет длинным и трудным, а незадолго до трех, когда уже завывали собаки, поставила на огонь воду для кофе, облачилась в глубокий траур и срезала в саду первую предрассветную розу. Доктор Урбино уже понял, как трудно ему будет отбиваться от воспоминаний об этой женщине, и, казалось, понимал почему: только существо безо всяких принципов могло скорбеть с таким полным удовольствием.

И она еще более утвердила его в этой мысли. Она не пойдет на похороны, ибо так обещала возлюбленному, хотя доктор Урбино вывел иное заключение из последнего абзаца письма. Она не будет лить слезы и не станет растрчивать оставшиеся годы, варя на медленном огне похлебку из личинок былых воспоминаний; не заточит себя в четырех стенах за шитьем савана, как напоказ всем испокон веков поступали прирожденные вдовы. Она собирается продать дом Хереми де Сент-Амура, который отныне принадлежит ей, со всем, что в нем есть, и будет жить, как жила, ни на что не жалуясь, в этой морильне для бедняков, где некогда была счастлива.

Всю дорогу домой доктор Хувеналь Урбино не мог отделаться от этих слов: «морильня для бедняков». Определение это было не беспочвенным. Ибо город,

его город, оставался таким, каким был всегда, и время его не трогало: раскаленным, засушливым городом, полным ночных страхов, городом, одарившим его наслаждениями в пору возмужания, городом, где ржавели цветы и соль разъедала все и где за последние четыре столетия не происходило ничего, кроме наступления медленной старости среди усыхающих лавров и гниющих топей. Зимой, после внезапных ливневых дождей, уборные выходили из берегов и улицы превращались в тошнотворную зловонную трясику. Летом невидимая пыль, колючая и жестокая, как раскаленная известь, набивалась повсюду, проникая сквозь щели, недоступные воображению, и носилась по городу, взвихренная сумасшедшими ветрами, которые срывали крыши с домов и поднимали в воздух детей. По субботам мулатская беднота, гомоня, снималась с места и, бросив халупы из картона и жести, ютившиеся вдоль топкого берега, прихватив с собой еду, питье, а заодно и домашних животных, радостно штурмовала каменистые пляжи в колониальной части города. У некоторых, самых старых, еще и до сих пор сохранилось королевское клеймо, которое раскаленным железом рабам выжигали на груди. Всю субботу и воскресенье они плясали до упаду, напивались вусмерть самогонкою и привольно любились в сливовых зарослях, а в воскресенье к полуночи затевали дикие свары, дрались жестоко и кроваво. Это была та самая гомонливая толпа, что все остальные дни недели бурлила на площадях и улочках старинных кварталов и заражала мертвый город праздничным исступлением, благоухавшим жареной рыбой: то была новая жизнь.

Освобождение от испанского владычества, а затем отмена рабства способствовали благородному декадентскому упадку, в обстановке которого родился и вырос доктор Хувеналь Урбино. В те поры великие семейства в полной тишине шли ко дну в своих терявших нарядное убранство величавых родовых домах. На крутых мощеных улочках, где так удобно было устраивать военные засады и высаживаться морским пиратам, теперь пышная растительность свисала с балконов и пробивала щели в известковых и каменных стенах даже самых ухоженных домов, и в два часа пополудни единственным признаком жизни здесь были вялые гаммы на фортепьяно, несшиеся из дремотной полутьмы дома. Внутри, в прохладных спальнях, благоухающих ладаном, женщины прятались от солнца, как от дурной заразы, и, даже отправляясь к заутрене, закрывали лицо мантильей. Любовь у них была медленной и трудной, в нее то и дело вторгались роковые предзнаменования, и жизнь казалась нескончаемой. А под вечер, в угрюмый час, когда день сдается ночи, над трясиной поднималась яростная туча кровожадных москитов, и слабые испарения человеческих экскрементов, теплые и печальные, извлекали со дна души мысли о смерти.

Словом, жизнь колониального города, которую юный Хувеналь Урбино, грустя в Париже, склонен был идеализировать, являлась не чем иным, как мечтою, тонувшей в воспоминаниях. В восемнадцатом веке это был самый бойкий торговый город во всем карибском крае, главным образом за счет печальной привилегии быть крупнейшим в Америке рынком африканских рабов. А кроме того, здесь находилась резиденция вице-королей Нового Королевства Гранады, которые предпочитали править отсюда, с берега Мирового океана, а не из далекой и холодной столицы, где веками, не переставая, моросил дождь, искажая все представления о действительной жизни. Несколько раз в году в бухту сходились флотилии талионов, груженных богатствами из Потоси, из Кито, из Веракруса; для города то были годы славы. В пятницу 8 июня 1708 года, в четыре часа пополудни, галион «Сан-Хосе», взявший курс на Кадис с грузом ценных камней и металлов стоимостью в полмиллиарда тогдашних песо, был потоплен английской эскадрой у самого выхода из гавани, и за два прошедшие затем века его так и не подняли со дна. Богатства, осевшие на коралловом дне океана, и труп капитана, плавающий у капитанского мостика, были взяты историками за символ и эмблему этого города, тонувшего в воспоминаниях.

На другом берегу бухты, в богатом квартале Ла-Манга, дом доктора Хувеналья Урбино жил словно в ином времени. Дом был большим и прохладным, в один этаж, с портиком из дорических колонн на фасадной террасе, с которой открывался вид на стоялые воды, где догнивали выброшенные из бухты останки отслуживших свою службу кораблей. Пол в доме от входной двери до кухни был вымощен черной и белой плиткой, как шахматная доска, и многие полагали, что причиной тому – шахматная страсть доктора, забывая, что на самом деле это излюбленный стиль каталонских мастеров, которые в начале века построили квартал новоявленных богачей. Просторная гостиная с очень высокими, как и во всем доме, потолками и с шестью цельными, без створок, окнами, выходившими на улицу, отделялась от столовой огромной изукрашенной стеклянной дверью, по которой вились виноградные лозы и в бронзовых роцах юные девы соблазнялись свирелями фавнов. Вся мебель в гостиной, вплоть до часов с маятником, была подлинная английская, конца девятнадцатого века, лампы под потолком – с подвесками из горного хрусталя, и повсюду кувшины и вазы северского фарфора и алебастровые статуэтки, изображавшие языческие игры. Но в остальной части дома европейский дух был не так силен, плетеные кресла там стояли попеременно с венскими качалками и табуретами с кожаными сиденьями местного изготовления. В спальнях, помимо кроватей, висели изумительные гамаки из Сан-Хасинто, на краях, обшитых цветной бахромой, шелком, готическими буквами было вышито имя хозяина. Зала рядом со

столовой, с самого начала предназначавшаяся для парадных ужинов, в обычное время использовалась как музыкальный салон, где заезжие знаменитости давали концерты для узкого круга. Плитчатый пол для заглушения шагов покрывали турецкие ковры, купленные на международной выставке в Париже, там же стоял ортофон последней модели возле полки с пластинками, содержащимися в строгом порядке, а в углу, покрытое манильской шалью, покоилось пианино, к которому доктор Урбино не притрагивался уже много лет. Во всем доме чувствовался мудрый пригляд женщины, твердо стоящей на земле.

Однако ничто в доме не могло сравниться с торжественным убранством библиотеки, которая для доктора Урбино, пока старость не одолела его, была настоящим святилищем. Все стены вокруг стола орехового дерева, принадлежавшего еще его отцу, все стены и даже окна были скрыты застекленными полками, на которых он разместил почти в маниакально-строгом порядке три тысячи книг, в одинаковых переплетах из телячьей кожи с тисненными золотыми буквами на корешках. В отличие от всех остальных помещений в доме, которые находились во власти грохота и зловония, доносившихся из бухты, в библиотеке всегда все было – вплоть до запахов – как в аббатстве. Доктор Урбино и его жена, рожденные и воспитанные в карибских привычках открывать настежь окна и двери, зазывая прохладу, которой на самом деле не было, поначалу чувствовали себя неуютно в запертом доме. Но со временем убедились, что единственный способ противостоять жаре – это держать дом наглухо запертым в августовский зной, не впуская раскаленного воздуха снаружи, и распахивать все настежь только навстречу ночным ветрам. После того как они это поняли, их дом стал самым прохладным под свирепым солнцем Ла-Манги, и было отрадно провести сиесту в полумраке спальни, а под вечер сидеть на передней террасе и глядеть, как тяжело идут мимо пепельно-серые грузовые суда из Нового Орлеана и шлепают деревянными лопастями речные пароходы, на которых вечером зажигались огни и звонкий шлейф музыки очищал стоялые воды бухты. Этот дом был самым надежным и с декабря по март, когда северные пассаты рвали крыши и всю ночь, точно голодные волки, кружили и завывали вокруг дома, выискивая самую малую щель. И никому не приходило в голову, что у супружеской четы, обосновавшейся тут, были какие-то причины для того, чтобы не быть счастливыми.

И тем не менее доктор Урбино не был счастлив в то утро, вернувшись домой еще до десяти часов, после двух встреч, из-за которых он не только пропустил воскресную праздничную службу, но и, того гляди, мог утратить состояние духа, свойственное его возрасту, когда все уже кажется в прошлом. Он хотел вздремнуть немного, прежде чем идти на парадный обед к доктору Ласидесу

Оливельи, но застал дома суматоху – прислуга пыталась поймать попугая, который вырвался, когда его вынули из клетки, чтобы подрезать крылья, и взлетел на самую высокую ветку мангового дерева. Попугай был облезлый и сумасшедший, он не разговаривал, когда его просили, и начинал говорить в самые неожиданные моменты, но зато уж говорил совершенно четко и так здраво, как не всякий человек. Доктор Урбино лично обучал его, а потому попугай пользовался такими привилегиями, каких не имел в семье никто, даже дети в нежном младенческом возрасте.

Он жил в доме уже более двадцати лет, и никто не знал, сколько лет он прожил на свете до этого. Днем, отдохнув в послеобеденную сиесту, доктор Урбино садился с ним на выходящей во двор террасе, самом прохладном месте в доме, и напрягал все свои педагогические способности до тех пор, пока попугай не выучился говорить по-французски, как академик. Затем, из чистого упорства, он научил попугая вторить его молитве на латыни, заставил выучить несколько избранных цитат из Евангелия от Матфея, однако безуспешно пытался вдолбить ему механическое представление о четырех арифметических действиях. В одно из последних своих путешествий он привез из Европы первый фонограф с большой трубой и множеством входивших тогда в моду пластинок с записями своих любимых классических композиторов. День за днем на протяжении нескольких месяцев он заставлял попугая по несколько раз прослушивать пение Иветт Гильбер и Аристиды Брюана, услаждавших Францию в прошлом веке, пока попугай не выучил песни наизусть. Попугай пел женским голосом песни Иветт Гильбер и тенором – песни Аристиды Брюана, а заканчивал пение разнузданным хохотом, что было зеркальным отображением того хохота, которым раздражалась прислуга, слушая песни на французском языке. Слава о забавном попугае распространилась так далеко, что, случалось, позволения взглянуть на него просили знатные гости из центральной части страны, прибывавшие сюда на речных пароходах, а некоторые английские туристы, в те поры во множестве заплывавшие в город на банановых судах из Нового Орлеана, даже пытались купить его за любые деньги. Но вершиной его славы был тот день, когда президент Республики дон Маркое Фидель Суарес со всем своим кабинетом министров пришел в дом, чтобы удостовериться в справедливости попугаевой славы. Они прибыли в три часа пополудни, умирая от жары в цилиндрах и суконных сюртуках, которые не снимали ни разу за все три дня официального визита под раскаленным добела августовским небом, и вынуждены были уйти, не удовлетворив своего любопытства, поскольку попугай не произнес ни слова за все два часа, невзирая на все отчаянные уговоры и угрозы, а также публичное посрамление доктора Урбино, который опрометчиво настаивал на этом приглашении вопреки мудрым предостережениям супруги.

То, что попугай сохранил все привилегии и после исторической дерзости, окончательно доказало его священное право. В дом не допускались никакие живые твари, за исключением земляной черепахи, которая вновь появилась на кухне после того, как три или четыре года числилась безвозвратно пропавшей. Но ее считали скорее не живым существом, а минеральным амулетом на счастье, и никто никогда не мог точно сказать, где она бродит. Доктор Урбино упорно не признавался, что терпеть не может животных, и отговаривался на этот счет всякими научными побасенками и философическими предложениями, которые могли убедить кого угодно, но не его жену. Он говорил, что те, кто слишком любит животных, способны на страшные жестокости по отношению к людям. Он говорил, что собаки вовсе не верны, а угодливы, что кошки – предательское племя, что павлины – вестники смерти, попугаи ара – всего-навсего обременительное украшение, кролики разжигают вожделение, обезьяны заражают бешеным сладострастием, а петухи – вообще прокляты, ибо по петушину крику от Христа отреклись трижды.

Фермина Даса, его супруга, которой к этому времени исполнилось семьдесят два года и которая уже утратила былую королевскую поступь газели, совершенно безрассудно любила и тропические цветы, и домашних животных, и сразу после свадьбы под впечатлением нового открывшегося ей мира любви завела в доме гораздо больше животных, чем диктовал здравый смысл. Сперва появились три далматских кота, носивших имена римских императоров, которые раздирали друг друга в клочья, соперничая за расположение самки, делавшей честь своему имени Мессалина, ибо не успевала она принести девятерых котят, как тотчас же зачинала следующий десяток. Потом появились кошки абиссинские, с орлиными профилями и фараоновыми повадками, раскосые сиамские, дворцовые персидские, которые бродили по спальням, точно призраки, и будоражили ночной покой громкими любовными шабашами. Несколько лет прожил во дворе опоясанный цепью и прикованный к манговому дереву самец амазонского уистити, который вызывал определенное сочувствие, поскольку походил на архиепископа Обдулио-и-Рея удрученной физиономией, невинностью очей и красноречивостью жестов, однако отделалась от него Фермина Даса не по этой причине, а потому, что уистити имел скверную привычку – воздавать честь дамам прилюдно рукоблудием.

В коридорах дома в клетках сидели всевозможные птицы Гватемалы, выпи-прорицательницы, серые болотные цапли с длинными желтыми ногами; олененок просовывал морду сквозь прутья и поедал цветшие в горшках антурии. Незадолго до последней гражданской войны, когда впервые заговорили о

возможном приезде Папы Римского, из Гватемалы привезли райскую птицу, которую не замедлили вернуть обратно, едва узнали, что сообщение о папском визите всего-навсего правительственная выдумка для устрашения заговорщиков-либералов. А как-то у контрабандистов, приходивших на парусниках из Кюрасао, купили проволочную клетку с шестью пахучими воронами, точно такими же, какие были у Фермины-девочки в отцовском доме и каких она хотела иметь, став замужней женщиной. Однако терпеть в доме этих воронов, которые беспрерывно били крыльями и наполняли дом запахом похоронных венков, было невыносимо. Привезли в дом еще и четырехметровую анаконду, чей бессонный охотничий свист будоражил темноту спален, хотя благодаря ей и добились желаемого: смертоносное дыхание анаконды распугало всех летучих мышей, саламандр и бесчисленное разнообразие зловредных насекомых, наводнявших дом в пору ливневых дождей. Доктор Хувеналь Урбино в те годы имел большую врачебную практику и, поглощенный успехами своих общественных и культурных затей, не ломал над этим голову, полагая, что его жена, живущая среди стольких отвратительных существ, не только самая красивая, но и самая счастливая женщина в карибском краю. Но однажды вечером, вернувшись после тяжелого дня, он застал дома катастрофу, которая разом вернула его с небес на землю. От гостиной, насколько хватал глаз, растекалась по полу кровавая река, в которой плавали тела мертвых животных. Прислуга, не зная, что делать, взобралась на стулья и не могла прийти в себя от ужаса.

Оказывается, внезапно взбесился сторожевой пес: в припадке бешенства он рвал в клочья всех без разбору животных, попадавших на пути, пока наконец соседский садовник, набравшись мужества, не зарубил пса тесаком. Никто не знал, скольких он успел покусать или заразить пенной зеленой слюной, и потому доктор Урбино приказал перебить всех оставшихся в живых животных, тела их сжечь в поле, подальше от дома, а санитарной службе сделать дезинфекцию в доме. Уцелел только один счастливчик – самец черепахи моррокойя, никто не вспомнил о нем.

Фермина Даса впервые признала правоту мужа в домашнем деле и постаралась потом очень долго не заговаривать с ним о животных. Она утешалась цветными вкладками из «Истории естествознания» Линнея, которые велела вставить в рамки и развесить по стенам гостиной, и, может быть, в конце концов потеряла бы всякую надежду снова завести в доме какое-нибудь животное, если бы однажды на рассвете воры не взломали окно в ванной комнате и не унесли столовое серебро, которое передавалось в наследство от одного к другому уже пятью поколениями. Доктор Урбино навесил двойные замки на оконные запоры,

для верности поставил на все двери железные засовы, все самое ценное стал хранить в несгораемом шкафу и вспомнил давнюю военную привычку спать с револьвером под подушкой. Но покупать и держать в доме сторожевого пса – привитого или не привитого, вольного или на цепи – отказался наотрез, хоть бы воры обобрали его до нитки.

– В этот дом не войти больше никому, кто не умеет говорить, – сказал он.

Он сказал так, желая положить конец хитроумным доводам жены, снова уговаривавшей его купить собаку, и, конечно, не мог себе представить, что это скороспелое заявление позже будет стоить ему жизни. Фермина Даса, чей необузданный характер с годами приобрел новые черты, поймала неосторожного на язык супруга: через несколько месяцев после того ограбления она вновь навестила парусники Кюрасао и купила королевского попугая из Парамарибо, который умел лишь ругаться отборной матросской бранью, но выговаривал слова таким человеческим голосом, что вполне оправдывал свою непомерную цену в двенадцать сентаво.

Попугай был хорош, гораздо более легкий, чем казался, голова желтая, а язык – черный, единственный признак, по которому его можно отличить от других попугаев, которых невозможно научить разговаривать даже при помощи свечей со скипидаром. Доктор Урбино умел достойно проигрывать, он склонил голову перед изобретательностью жены и только дивился, какое удовольствие доставляют ему успехи раззадоренного служанками попугая. В дождливые дни, когда у насквозь промокшего попугая язык развязывался от радости, он произносил фразы совсем из других времен, которым научился не в этом доме и которые позволяли думать, что попугай гораздо старше, чем кажется. Окончательно сдержанное отношение доктора к попугаю пропало в ночь, когда воры снова пытались залезть в дом через слуховое окно на чердаке и попугай спугнул их, залившись собачьим лаем; он лаял правдоподобнее настоящей овчарки и выкрикивал: «Воры, воры, воры!» – две уловки, которым он научился, конечно же, не в этом доме. Вот тогда-то доктор Урбино и занялся им, он приказал приладить под манговым деревом шест и укрепить на нем одну миску с водой, а другую – со спелым бананом и трапецию, на которой попугай мог бы кувыркаться. С декабря по март, когда ночи становились холоднее и погода делалась невыносимой из-за северных ветров, попугая в клетке, покрытой пледом, заносили в спальни, хотя доктор Урбино и опасался, что хронический сап, которым страдал попугай, может повредить людям. Многие годы попугаю подрезали перья на крыльях и выпускали из клетки, и он расхаживал в свое

удовольствие походкой старого кавалериста. Но в один прекрасный день он стал выделывать акробатические фокусы под потолком на кухне и свалился в кастрюлю с варевом, истошно вопя морскую галиматью вроде «спасайся кто может»; ему здорово повезло: кухарке удалось его выловить половником, обваренного, облешего, но еще живого. С тех пор его стали держать в клетке даже днем, вопреки широко распространенному поверью, будто попугаи в клетке забывают все, чему их обучили, и доставать оттуда только в четыре часа, когда спадала жара, на урок к доктору Урбино, который тот проводил на террасе, выходявшей во двор. Никто не заметил вовремя, что крылья у попугая чересчур отросли, и в то утро как раз собрались их подрезать, но попугай взлетел на верхушку мангового дерева.

Три часа его не могли поймать. К каким только хитростям и уловкам не прибегали служанки, и домашние и соседские, чтобы заставить его спуститься, но он упорно не желал и, надрываясь от хохота, орал: «Да здравствует либеральная партия, да здравствует либеральная партия, черт бы ее побрал!» – отважный клич, стоивший жизни не одному подвыпившему гуляке. Доктор Урбино еле мог разглядеть его в листве и пытался уговорить по-испански, по-французски и даже на латыни, и попугай отвечал ему на тех же самых языках, с теми же интонациями и даже тем же голосом, однако с ветки не слез. Поняв, что добром ничего не добиться, доктор Урбино велел послать за пожарными – его последней забавой на ниве общественной деятельности.

До самого недавнего времени пожары гасили добровольцы как попало: хватали лестницы, какими пользовались каменщики, черпали ведрами воду где придется и действовали так суматошно, что порой причиняли разорения больше, чем сами пожары. Но с прошлого года на пожертвования, собранные Лигой общественного благоустройства, почетным президентом которой был Хувеналь Урбино, в городе завели профессиональную пожарную команду, у которой была своя водовозка, сирена, колокол и два брандспойта. Пожарные были в моде, и когда церковные колокола били набат, в школах даже отменяли уроки, чтобы ребяташки сбегали посмотреть, как сражаются с огнем. Вначале пожарные занимались только пожарами. Но доктор Урбино рассказал местным властям, что в Гамбурге он видел, как пожарные возвращали к жизни ребенка, найденного замерзшим в подвале, после трехдневного снегопада. А на улочке Неаполя он видел, как они спускали гроб с покойником с балкона десятого этажа – по крутой винтовой лестнице семья не могла вытащить гроб на улицу. И вот местные пожарные стали оказывать разного рода срочные услуги – вскрывать замки, убивать ядовитых змей, а Медицинская школа даже устроила для них специальные курсы по оказанию первой помощи. А потому ничего странного не

было в том, чтобы попросить их снять с высокого дерева выдающегося попугая, у которого достоинств было не меньше, чем у какого-нибудь заслуженного господина. Доктор Урбино напутствовал: «Скажите, что вы от меня». И пошел в спальню переодеться к парадному обеду. По правде сказать, голова доктора была так занята письмом Херемии де Сент-Амура, что участь попугая его не особенно заботила.

Фермина Даса уже надела свободное шелковое платье, присборенное на бедрах, и ожерелье из настоящего жемчуга шесть раз вольно обвилось ее шею; ноги обула в атласные туфли на высоком каблуке, какие она надевала лишь в самых торжественных случаях, ибо подобные испытания были ей уже не по годам. Казалось бы, столь модный наряд не годился почтенной матроне, однако он очень шел ей, – к ее фигуре, все еще стройной и статной, к ее гибким рукам, не крапленным еще старостью, к ее коротко стриженным волосам голубовато-стального цвета, свободной волной падавшим на щеку. Единственным, что осталось у нее от свадебной фотографии, были глаза, точно прозрачные миндалины, и врожденная горделивость осанки, – словом, все, что ушло с возрастом, восполнялось характером и старательной умелостью. Ей было легко и свободно: далеко позади остались времена железных корсетов, затянутых талий, накладных ватных задов. Тела теперь дышали свободно и выглядели такими, какими были на самом деле. Хотя бы и в семьдесят лет.

Доктор Урбино застал ее перед трюмо под медленно вращавшимися лопастями электрического вентилятора: она надевала шляпу, украшенную фиалками. Спальня была просторной и светлой: английская кровать, защищенная плетеной розовой сеткой от москитов, два распахнутых окна, в которые видны были растущие во дворе деревья и несся треск цикад, ошеломленных предвестьями близкого дождя. С того дня, как они возвратились из свадебного путешествия, Фермина Даса всегда сама подбирала одежду для мужа в соответствии со временем и обстоятельствами и аккуратно раскладывала ее на стуле заранее, с вечера, чтобы он, выйдя из ванной, сразу нашел ее. Она не помнила, когда начала помогать ему одеваться, а потом уже и одевать его, но хорошо знала, что вначале делала это из любви, однако лет пять назад стала делать по необходимости, потому что он уже не мог одеваться сам. Они только что отпраздновали свою золотую свадьбу и уже не умели жить друг без друга ни минуты и ни минуты не думать друг о друге; это неумение становилось тем больше, чем больше наваливалась на них старость. Ни тот, ни другой не могли бы сказать, основывались ли эта взаимная помощь и прислуживание на любви или на жизненном удобстве, но ни тот, ни другой не задавали себе столь откровенного вопроса, поскольку оба предпочитали не

знать ответа. Постепенно она стала замечать, как неверен становится шаг мужа, как неожиданно и странно меняется его настроение, какие провалы случаются в памяти, а совсем недавно появилась вдруг привычка всхлипывать во сне, однако она отнесла все это не к безошибочным признакам начала окончательного старческого распада, но восприняла как счастливое возвращение в детство. И потому обращалась с ним не как с трудным стариком, но как с несмышленным ребенком, и этот обман был благословенным для обоих, потому что спасал от жалости.

Совсем другой, наверное, могла бы стать жизнь для них обоих, знай они заведомо, что в семейной жизни куда легче уклониться от катастроф, нежели от досадных мелочных пустяков. Но если они и научились чему-то оба, то лишь одному: знание и мудрость приходят к нам тогда, когда они уже не нужны. Скрепя сердце Фермина Даса годами терпела по утрам веселое пробуждение супруга. Она изо всех сил цеплялась за тонкие ниточки сна, чтобы не открывать глаза навстречу новому роковому дню, полному зловещих предзнаменований, а он просыпался в невинном неведении, точно новорожденный: каждый новый день для него был еще одним выигранным днем. Она слышала, как он поднимался с первыми петухами и подавал первый признак жизни – кашлял, просто так, чтобы и она проснулась. Потом слышала, как он бормотал что-то специально, чтобы потревожить ее, пока искал в темноте шлепанцы, которым полагалось стоять у кровати. Потом как он пробирался в ванную комнату, натываясь в потемках на все подряд. А примерно через час, когда ей уже снова удавалось заснуть, слышала, как он одевается, опять не зажигая света. Однажды в гостиной, во время какой-то игры, его спросили, как бы он определил себя, и он ответил: «Я – человек, привыкший одеваться в потемках». Она слушала, как он шумел, прекрасно зная, что шумит он нарочно, делая вид, будто все наоборот, точно так же, как она, давно проснувшись, притворялась спящей. И причины его поведения знала точно: никогда она не была ему так нужна, живая и здоровая, как в эти тревожные минуты.

Никто не спал так красиво, как она, – будто летела в танце, прижав одну руку ко лбу, – но никто и не свирепел, как она, если случалось потревожить ее, думая, что она спит, в то время как она уже не спала. Доктор Урбино знал, что она улавливает малейший его шум и даже рада, что он шумит, – было на кого взвалить вину за то, что она не спит с пяти утра. И в тех редких случаях, когда, шаря в потемках, он не находил на привычном месте своих шлепанцев, она вдруг сонным голосом говорила: «Ты оставил их вчера в ванной». И тут же разъяренным голосом, в котором не было и тени сна, ругалась: «Что за кошмар, в этом доме невозможно спать!..»

Покрутившись в постели, она зажигала свет, уже не щадя себя, счастливая первой победой, одержанной в наступающем дне. По сути дела, оба участвовали в этой игре, таинственной и извращенной, а именно потому бодрящей игре, составлявшей одно из стольких опасных наслаждений одомашненной любви. И именно из-за такой заурядной домашней игры-размолвки чуть было не рухнула их тридцатилетняя совместная жизнь – только из-за того, что однажды утром в ванной не оказалось мыла.

Началось все повседневно просто. Доктор Хувеналь Урбино вошел в спальню из ванной – в ту пору он еще мылся сам, без помощи – и начал одеваться, не зажигая света. Она, как всегда в это время, плавала в теплом полусне, точно зародыш в материнском чреве, – глаза закрыты, дыхание легкое, и рука, словно в священном танце, прижата ко лбу. Она была в полусне, и он это знал. Пошуршав в темноте накрахмаленными простынями, доктор Урбино сказал как бы сам себе:

– Неделю уже, наверное, моюсь без мыла.

Тогда она окончательно проснулась, вспомнила и налилась яростью против всего мира, потому что действительно забыла положить в мыльницу мыло. Три дня назад, стоя под душем, она заметила, что мыла нет, и подумала, что положит потом, но потом забыла и вспомнила о мыле только на следующий день. На третий день произошло то же самое. Конечно, прошла не неделя, как сказал он, чтобы усугубить ее вину, но три непростительных дня пробежали, и ярость оттого, что заметили ее промах, окончательно вывела ее из себя. Как обычно, она прибегла к лучшей защите – нападению.

– Я моюсь каждый день, – закричала она в гневе, – и все эти дни мыло было!

Он достаточно хорошо знал ее методы ведения войны, но на этот раз не выдержал. Сославшись на дела, он перешел жить в служебное помещение благотворительной больницы и приходил домой только переодеться перед посещением больных на дому. Услышав, что он пришел, она уходила на кухню, притворяясь, будто занята делом, и не выходила оттуда, пока не слышала, что экипаж отъезжает. В три последующих месяца каждая попытка помириться заканчивалась лишь еще большим раздором. Он не соглашался возвращаться домой, пока она не признает, что мыла в ванной не было, а она не желала принимать его обратно до тех пор, пока он не признается, что соврал нарочно,

чтобы разозлить ее.

Этот неприятный случай, разумеется, дал им основание вспомнить множество других мелочных ссор, случившихся в тревожную пору иных предрассветных часов. Одни обиды тянули за собой другие, разъедали зарубцевавшиеся раны, и оба ужаснулись, обнаружив вдруг, что в многолетних супружеских сражениях они пестовали только злобу. И тогда он предложил пойти вместе и исповедаться сеньору архиепископу – надо так надо, – и пусть Господь Бог, верховный судия, решит, было в ванной комнате мыло или его не было. И она, всегда так прочно сидевшая в седле, вылетела из него, издав исторический возглас:

– Пошел он в задницу, сеньор архиепископ!

Оскорбительный выкрик потряс основы города, породил рассказы, которые не так-то легко было опровергнуть, и в конце концов вошел в копилку народной мудрости, его стали даже напевать на манер куплета из сарсуэлы: «Пошел он в задницу, сеньор архиепископ!» Она поняла, что перегнула палку, и, предвидя ответный ход мужа, поспешила опередить его – пригрозила, что переедет в старый отцовский дом, который все еще принадлежал ей, хотя и сдавался под какие-то конторы. Угроза не была пустой: она на самом деле собиралась уйти из дому, наплевав на то, что в глазах общества это было скандалом, и муж понял это вовремя. У него не хватило смелости бросить вызов обществу: он сдался. Не в том смысле, что признал, будто мыло лежало в ванной, это нанесло бы непоправимый ущерб правде, нет, просто он остался жить в одном доме с женой, но жили они в разных комнатах и не разговаривали друг с другом. И ели за одним столом, но научились в нужный момент ловко передавать с одного конца на другой то, что нужно было передать, через детей, которые даже и не догадывались, что родители не разговаривают друг с другом.

Возле кабинета не было ванной комнаты, и конфликт исчерпал себя – теперь он не шумел спозаранку, он входил в ванную после того, как подготовится к утренним занятиям, и на самом деле старался не разбудить супругу. Не раз перед сном они одновременно шли в ванную и тогда чистили зубы по очереди. К концу четвертого месяца он как-то прилег почитать в супружеской постели, ожидая, пока она выйдет из ванной, как бывало не раз, и заснул. Она постаралась лечь в постель так, чтобы он проснулся и ушел. И он действительно наполовину проснулся, но не ушел, а погасил ночник и поудобнее устроился на подушке. Она потрясла его за плечо, напоминая, что ему следует отправляться в кабинет, но ему так хорошо было почувствовать себя снова на пуховой перине

прадедов, что он предпочел капитулировать.

– Дай мне спать здесь, – сказал он. – Было мыло в мыльнице, было.

Когда уже в излучине старости они вспоминали этот случай, то ни ей, ни ему не верилось, что та размолвка была самой серьезной за их полувековую совместную жизнь, и именно она вдохнула в них желание примириться и начать новую жизнь. Даже состарившись и присмирив духом, они старались не вызывать в памяти тот случай, ибо и зарубцевавшиеся раны начинали кровоточить так, словно все случилось только вчера.

Он был первым мужчиной в жизни Фермины Дасы, которого она слышала, когда он мочился. Это произошло в первую брачную ночь в каюте парохода, который вез их во Францию; она лежала, раздавленная морской болезнью, и шум его тугой, как у коня, струи прозвучал для нее так мощно и властно, что ее страх перед грядущими бедами безмерно возрос. Потом она часто вспоминала это, поскольку с годами его струя слабела, а она никак не могла смириться с тем, что он орошает края унитаза каждый раз, когда им пользуется. Доктор Урбино пытался убедить ее, приводя доводы, понятные любому, кто хотел понять: происходит это неприятное дело не вследствие его неаккуратности, как уверяла она, а в силу естественной причины: в юности его струя была такой тугой и четкой, что в школе он побеждал на всех состязаниях по меткости, наполняя струей бутылки, с годами же она ослабевала и в конце концов превратилась в прихотливый ручеек, которым невозможно управлять, как он ни старается. «Унитаз наверняка выдумал человек, не знающий о мужчинах ничего». Он пытался сохранить домашний мир, ежедневно совершая поступок, в котором было больше унижения, нежели смирения: после пользования унитазом каждый раз вытирал туалетной бумагой его края. Она знала об этом, но ничего не говорила до тех пор, пока в ванной не начинало пахнуть мочой, и тогда провозглашала, словно раскрывая преступление: «Воняет, как в крольчатнике». Когда старость подошла вплотную, немощь вынудила доктора Урбино принять окончательное решение: он стал мочиться сидя, как и она, в результате и унитаз оставался чистым, и самому ему было хорошо.

К тому времени ему уже было трудно управляться самому, поскольку он в ванной – и конец, и потому он стал с опаской относиться к душе. В доме, построенном на современный манер, не было оцинкованной ванны на ножках-лапах, какие обычно стояли в домах старого города. В свое время он велел убрать ее из гигиенических соображений: ванна – одна из многочисленных

мерзостей, придуманных европейцами, которые моются раз в месяц, в последнюю пятницу, и барахтаются в той же самой потной грязи, которую надеются смыть с тела. Итак, заказали огромное корыто из плотной гуаякановой древесины, и в нем Фермина Даса стала купать своего мужа точно так, как купают грудных младенцев. Купание длилось более часа, в трех водах с добавлением отвара из листьев мальвы и апельсиновой кожуры, и действовало на него так успокаивающе, что иногда он засыпал прямо там, в душистом настое. Выкупав мужа, Фермина Даса помогала ему одеться, припудривала ему тальком пах, маслом какао смазывала раздражения на коже и натягивала носки любовно, точно пеленала младенца; она одевала его всего, от носков до галстука, и узел галстука закалывала булавкой с топазом. Первые утренние часы у супругов теперь тоже проходили спокойно, к нему вернулось былое ребячество, которое на время дети отняли у него. И она в конце концов приноровилась к семейному распорядку, для нее годы тоже не прошли даром: теперь она спала все меньше и меньше и к семидесяти годам уже просыпалась раньше мужа.

В то воскресенье, на Троицу, когда доктор Хувеналь Урбино приподнял одеяло над трупом Хереми де Сент-Амура, ему открылось нечто такое, чего он, врач и верующий, до тех пор не постиг даже в самых своих блистательных прозрениях. Словно после стольких лет близкого знакомства со смертью, после того, как он столько сражался с нею и по праву и без всякого права щупал ее собственными руками, он в первый раз осмелился взглянуть ей прямо в лицо, и она сама тоже заглянула ему в глаза. Нет, дело было не в страхе смерти. Этот страх сидел в нем уже много лет, он жил в нем, стал тенью его тени с той самой ночи, когда, внезапно проснувшись, встревоженный дурным сном, он вдруг понял, что смерть – это не непременно вероятность, а непременно реальность. А тут он обнаружил физическое присутствие того, что до сих пор было достоверностью воображения и не более. И он порадовался, что инструментом для этого холодящего ужасом откровения Божественное провидение избрало Херемию де Сент-Амура, которого он всегда считал святым, не понимавшим этого Божьего дара. Когда же письмо раскрыло ему истинную суть Хереми де Сент-Амура, все его прошлое, его уму непостижимую хитроумную мощь, доктор почувствовал, что в его жизни что-то изменилось решительно и бесповоротно.

Фермина Даса не дала ему заразить себя мрачным настроением. Он, разумеется, попытался это сделать в то время, как она помогала ему натягивать штаны, а потом застегивала многочисленные пуговицы на рубашке. Однако ему не удалось, потому что Фермину Дасу нелегко было выбить из колеи, тем более известием о смерти человека, которого она не любила. О Хереми де Сент-

Амуре, которого она никогда не видела, ей было лишь известно, что он инвалид на костылях, что он спасся от расстрела во время какого-то мятежа на каком-то из Антильских островов, что из нужды он стал детским фотографом, самым популярным во всей провинции, что однажды выиграл в шахматы у человека, которого она помнила как Торремолиноса, в то время как в действительности его звали Капабланкой.

– Словом, всего лишь беглый из Кайенны, приговоренный к пожизненному заключению за страшное преступление, – сказал доктор Урбино. – Представляешь, он даже ел человечину.

Он дал ей письмо, тайну которого хотел унести с собой в могилу, но она спрятала сложенные пополам листки в трюме, не читая, и заперла ящик на ключ. Она давно привыкла к неисчерпаемой способности своего мужа изумляться, к крайностям в оценках, которые с годами становились еще более непонятными, к узости его суждений, что никак не соответствовало широте его общественных интересов. На этот раз он перешел все границы. Она предполагала, что муж ценит Херемию де Сент-Амура не за то, кем он был прежде, а за то, кем он, беглый, приехавший с одной котомкой за плечами, сумел стать здесь, и не могла понять, почему мужа так поразили запоздалые откровения Херемии де Сент-Амура. Она не понимала, почему его так неприятно поразила тайная связь Херемии де Сент-Амура с женщиной, – в конце концов, таков был атавистический обычай мужчин его типа, и при неблагоприятном стечении обстоятельств сам доктор мог оказаться в подобной ситуации, а кроме того, она полагала, что женщина в полной мере доказала свою любовь, помогая мужчине осуществить принятое решение – умереть. Она сказала: «Если бы ты решил сделать то же самое в силу столь же серьезных причин, мой долг был бы поступить так, как поступила она». Доктор Урбино в очередной раз попал в западню элементарного непонимания, которое раздражало его уже пятьдесят лет.

– Ты ничего не понимаешь, – сказал он. – Возмутило меня не то, кем он оказался, и не то, что он сделал, а то, что он столько лет обманывал нас.

Его глаза затуманились невольными слезами, но она сделала вид, что ничего не заметила.

– И правильно делал, – возразила она. – Скажи он правду, ни ты, ни эта бедная женщина, да и никто в городе не любил бы его так, как его любили.

Она пристегнула ему к жилету цепочку часов. Подтянула узел галстука и заколола его булавкой с топазом. Потом платком, смоченным одеколоном «Флорида», вытерла ему слезы и заплаканную бороду и вложила платок в нагрудный кармашек, кончиком наружу, точно цветок магнолии. Стоячую тишину дома нарушил бой часов: одиннадцать ударов.

- Поторопись, - сказала она, беря его под руку. - Мы опаздываем.

Аминта Дечамис, супруга доктора Ласидеса Оливельи, и семь их дочерей старались наперебой предусмотреть все детали, чтобы парадный обед по случаю двадцатипятилетнего юбилея стал общественным событием года. Дом этого семейства находился в самом сердце исторического центра и прежде был монетным двором, однако полностью утратил свою суть стараниями флорентийского архитектора, который прошелся по городу злым ураганом новаторства и, кроме всего прочего, превратил в венецианские базилики четыре памятника XVII века. В доме было шесть спален, два зала, столовая и гостиная, просторные, хорошо проветривавшиеся, однако они оказались бы тесны для приглашенных на юбилей выдающихся граждан города и округа. Двор был точной копией монастырского двора аббатства, посередине в каменном фонтане журчала вода, на клумбах цвели гелиотропы, под вечер наполнявшие ароматом дом, однако пространство под арочной галереей оказалось мало для столь важных гостей. И потому семейство решило устроить обед в загородном имении, в девяти минутах езды на автомобиле по королевской дороге; в имении двор был огромным, там росли высочайшие индийские лавры, а в спокойных водах реки цвели водяные лилии. Мужская прислуга из трактира дона Санчо под руководством сеньоры Оливельи натянула разноцветные парусиновые навесы там, где не было тени, и накрыла под сенью лавров по периметру прямоугольника столики на сто двадцать две персоны, застелив их льняными скатертями и украсив главный, почетный стол свежими розами. Построили и помост для духового оркестра, ограничив его репертуар контрдансами и вальсами национальных композиторов, а кроме того, на этом же помосте должен был выступить струнный квартет Школы изящных искусств; этот сюрприз сеньора Оливелья приготовила для высокочтимого учителя своего супруга, который должен был возглавить стол. И хотя назначенный день не соответствовал строго дате выпуска, выбрали воскресенье на Троицу, чтобы придать празднику должное величие.

Приготовление началось за три месяца, боялись, как бы из-за нехватки времени что-нибудь важное не осталось недоделанным. Велели привезти живых кур с

Золотого Болота, куры те славились по всему побережью не только размерами и вкусным мясом, но и тем, что кормились они на аллювиальных землях и в зобу у них, случалось, находили крупинки чистого золота. Сеньора Оливелья самолично, в сопровождении дочерей и прислуги, поднималась на борт роскошных трансатлантических пароходов выбирать все лучшее, что привозилось отовсюду, дабы достойно почтить своего замечательного супруга. Все было предусмотрено, все, кроме одного – праздник был назначен на июльское воскресенье, а дожди в том году затянулись. Она осознала рискованность всей затеи утром, когда пошла в церковь к заутрене и влажность воздуха напугала ее, небо было плотным и низким, морской горизонт терялся в дымке. Несмотря на зловещие приметы, директор астрономической обсерватории, которого она встретила в церкви, напомнил ей, что за всю бурную историю города даже в самые суровые зимы никогда не бывало дождя на Троицу. И тем не менее в тот самый момент, когда пробило двенадцать и многие гости под открытым небом пили аперитив, одинокий раскат грома сотряс землю, штормовой ветер с моря опрокинул столики, сорвал парусиновые навесы, и небо обрушилось на землю чудовищным ливнем.

Доктор Хувеналь Урбино с трудом добрался сквозь учиненный бурей разгром вместе с последними встретившимися ему по дороге гостями и собирался уже, подобно им, прыгать с камня на камень через залитый ливнем двор, от экипажа к дому, но в конце концов согласился на унижение: слуги на руках, под желтым парусиновым балдахином, перенесли его через двор. Столики уже снова были расставлены наилучшим образом внутри дома, даже в спальнях, но гости не старались скрыть своего настроения потерпевших кораблекрушение. Было жарко, как в пароводном котле, но окна пришлось закрыть, чтобы в комнаты не хлестал ветер с дождем. Во дворе на каждом столике лежали карточки с именем гостя, и мужчины, по обычаю, должны были сидеть по одну сторону, а женщины – по другую. Но в доме карточки с именами гостей перепутались, и каждый сел где мог, перемешавшись в силу неодолимых обстоятельств и вопреки устоявшимся предрассудкам. В разгар катастрофы Аминта Оливелья, казалось, одновременно находилась сразу везде, волосы ее были мокры от дождя, а великолепное платье забрызгано грязью, но она переносила несчастье с неодолимой улыбкой, которой научилась у своего супруга, – улыбайся, не доставляй беде удовольствия. С помощью дочерей, выкованных на той же наковальне, ей кое-как удалось сохранить за почетным столом места для доктора Хувенала Урбино в центре и для епископа Обдулио-и-Рея справа от него. Фермина Даса села рядом с мужем, как делала всегда, чтобы он не заснул во время обеда и не пролил бы суп себе на лацканы. Место напротив занял доктор Ласидес Оливелья, пятидесятилетний мужчина с женоподобными манерами,

великолепно сохранившийся, вечно праздничное состояние души доктора никак не вязалось с точностью его диагнозов. Все остальные места за этим столом заняли представители власти города и провинции и прошлогодняя королева красоты, которую губернатор под руку ввел в залу и усадил рядом с собой. Хотя и не было в обычае на званые обеды одеваться особо, тем более что обед давался за городом, на женщинах были вечерние платья и украшения с драгоценными камнями, и большинство мужчин было в темных костюмах и серых галстуках, а некоторые – в суконных сюртуках. Только те, кто принадлежал к сливкам общества, и среди них – доктор Урбино, пришли в повседневной одежде. Перед каждым гостем лежала карточка с меню, напечатанная по-французски и украшенная золотой виньеткой.

Сеньора Оливелья, боясь, как бы жара кому не повредила, обежала весь дом, умоляя всех снять за обедом пиджаки, однако никто не решился подать пример. Архиепископ обратил внимание доктора Урбино на то, что этот обед в определенном смысле является историческим: впервые за одним столом собрались теперь, когда раны залечены и боевые страсти поутихли, представители обоих лагерей, бившихся в гражданской войне и заливавших кровью всю страну со дня провозглашения независимости. Умонастроение архиепископа совпадало с радостным волнением либералов, особенно молодых, которым наконец удалось избрать президента из своей партии после сорокапятилетнего правления консерваторов. Доктор Урбино не был с этим согласен: президент-либерал не казался ему ни лучше, ни хуже президента-консерватора, пожалуй, только одевается похуже. Однако он не стал возражать архиепископу, хотя ему и хотелось бы отметить, что на этот обед ни один человек не был приглашен за его образ мыслей, приглашали сюда по заслугам и родовитости, а заслуги рода всегда стояли выше удач в политических хитросплетениях или в бедовых военных разгулах. И если смотреть с этой точки зрения, то пригласить не забыли никого.

Ливень перестал внезапно, как и начался, и сразу же на безоблачном небе запыхало солнце, но короткая буря была свирепа: с корнем выворотила несколько деревьев, а двор превратила в грязное болото. Разрушения на кухне были еще страшнее. Специально к празднику позади дома, под открытым небом, сложили из кирпичей несколько очагов, и повара едва успели спасти от дождя котлы с едой. Они потеряли драгоценное время, вычерпывая воду из затопленной кухни и сооружая новые печи на галерее. К часу дня удалось сладить с последствиями стихийного бедствия, и не хватало только десерта, который был заказан сестрам из монастыря Святой Клары и который те обещали прислать не позднее одиннадцати часов утра. Опасались, что дорогу могло

размыть, как случилось даже не очень дождливыми зимами, и в таком случае раньше чем через два часа десерта не следовало ожидать. Как только дождь перестал, распахнули окна, и дом наполнил свежий, очищенный грозой воздух. Оркестру, расположившемуся на фасадной террасе, дали команду играть вальсы, но тревожная сумятица только возросла: рев медных духовых инструментов наполнил дом, и разговаривать теперь можно было лишь криком. Уставшая от ожидания улыбающаяся Аминта Оливелья, изо всех сил стараясь не заплакать, приказала подавать обед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://telnovel.me/gabriel-markes/lyubov-vo-vremya-chumy>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)